

А.И. Иванов*

ОБЛИК РУССКОГО СОЛДАТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918 гг.)

В статье анализируются первые публикации о рядовом участнике войны 1914-1918 гг., рассеянные на страницах периодики и книг военного времени. Внимание автора привлекает проза молодых писателей Ф.Крюкова, Я. Окунева, Б.Тимофеева, А.Толстого, К.Тренева, М.Пришвина, С.Федорченко, И.Шмелева.

К началу войны 1914 г. русская литература имела солидный опыт в освоении военной темы, в изображении армейской жизни. Но все было сказано об офицере или от имени офицера. Ни полумифического суворовского чудо-богатыря из исторических романов XIX века, ни загадочного для Пьера Безухова мужика Платона Каратаева, ни умирающего от болезней и побоев Хлебникова из «Поединка» А. Куприна, ни безмолвных или косноязычных денщиков из повестей С. Сергеева-Ценского «Бабаев» и Е. Замятина «На куличках» к художественному образу *воюющего рядового* отнести нельзя.

1 августа 1914 года. Сотни тысяч российских мужиков и мастеровых, вчерашних студентов и служащих, одетых в солдатские шинели, двинулись в сторону запада воевать «За веру, царя и Отечество». У каждого из них — свой довоенный мир, свои желания и мечты, но теперь — это российская армия, это тот «пластический человеческий материал, обладавший сказочными свойствами выправлять просчеты и промахи военачальников» [1, С.39]. Каким он был, русский солдат Первой мировой?

О чем думал и что чувствовал? Что успела и сумела запечатлеть отечественная литература военных лет? Открылись ли его неуловимость и загадочность? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к некоторым страницам периодики и книг военного времени и прежде всего к прозе молодых писателей Ф. Крюкова, Я. Окунева, Б. Тимофеева, А. Толстого, К. Тренева, М. Пришвина, С. Федорченко, И. Шмелева, которые получили возможность увидеть русского солдата на фронте, в лазарете или залечивающим раны дома. Можно с уверенностью сказать, что благодаря их очеркам и рассказам, русская литература по сути впервые воссоздала облик *человека с ружьем*.

Первые публикации о рядовом участнике войны запечатлели, пожалуй, не столько самого солдата, сколько авторский интерес к нему. «Ни одна книга о войне не расскажет того, что узнаешь от солдат, внимательно расспрашивая каждого, как и где он получил свою рану», — так начинается очерк М. Пришвина «Возле раненых» (1914).

* © Иванов А.И., 2005

Иванов Анатолий Иванович — кафедра русской и зарубежной литературы Тамбовского государственного университета

В самые первые дни войны обозначился неподдельный интерес к *солдату*, спокойно рассказывающему о пережитом на неведомой еще войне, и *человеку*, который смог убить себе подобного и пожалеть своего же врага. Непостижимость солдата, своего соотечественника, побывавшего в пекле войны, его отношение к тому, что он испытал, — неразрешимая загадка для стороннего: *«Рассказывают о смерти и гибели с лицами бесстрастными, скорее твердыми, без малейшего нервного напряжения. Это не холодность, но мужество. Один рассказывал, как из Бзуры одного потонувшего солдата он вытащил, как другой упал, но его не могли вытащить, он так и замерз. Или как окопы были не из земли, а из людей. Рассказывают о телах, которым предстоит разлагаться, и ни малейшей нервности. Но если бы эта была бесчувственность, то откуда доброта, отзывчивость даже к врагам. Никто не разыгрывает бесстрашных, и на вопрос о том, страшно ли было, большинство отвечает, что сначала-де страшно — «как же не страшно!», и смеется»* [2, С.155].

Наверное, нигде и ни перед кем *человек воюющий* не раскрывал так свою душу, сокровенные мысли, как в солдатском письме, перед безмолвным листком бумаги. Недаром в свое время Л. Толстой мечтал собрать солдатские письма. В русской литературе периода Первой мировой войны письма осознавались не только как нить, связывавшая фронт и тыл. Новое в изображении войны в XX веке заключается в том, что непосредственные участники войны получили возможность высказаться. В очерке «Письма» Ф. Крюков отметил, как изменился стиль солдатских писем за время войны: «До войны, склонные к вычурной витиеватости, они пахли казармой и мудреной солдатской словесностью. Теперь с полей, орошенных кровью, <...> они трогательно просты, кратки, без всяких словесных украшений и исполнены непередаваемой элегической красоты и выразительности. Мой приятель, унтер-офицер Дмитрий Тихонович Ильичев, за месяц до начала войны писал домой в таком примерно тоне:

«Возлюбленной дорогой, незабвенной, много одушевленной дружеской милостью супруге Тане посылаю нижайшее супружеское почтение с дорогой дочей Нюшей, целую вас бесчисленное количество разов заочно, желаю от Бога всего хорошего <...> Таничка! Я имел великое счастье получить от тебя 3-го июня, как действительно от верной по закону, которая во всех отношениях готова жизнь свою положить в помощи моей солдатской службы, вместе с тем заслужившая доверие, трудной, одинокой молодой жизни, чем без конца доволен». В последнем письме автора очерка поразили слова убитого Мити Ильичева: «Дорогие родители! Извещаю вам, что за мной стоит, может быть, короткая жизнь <...> Еще прошу пишите как можно поскорее, может, придется на последней минуте жизни прочитать ваши слова, родители, поскорее пишите. Посылайте без марок, марок не надо...»[3].

Письма рядовых участников войны передали первые впечатления от увиденного за границей, от неприятеля, выразили тревогу об оставшихся без кормильца домашних... «Немой заговорил» не только в письмах; русская литература военных лет успела услышать голос серошинельной массы, сначала в отдельных репликах, затем зазвучали солдатские суждения о храбрости, о неприятеле, о союзниках... Герой очерка Ф. Крюкова «Раненый» говорит о немцах:

Бо-га-то живут! В комнаты войдешь — чистота... У каждого — паровая машина для молотбы, паровые плуги... Здорово живут! Птица какая! Скотина какая! Любо посмотреть... <...> Вот житель там серьезный... у-у, беда! Подходишь к деревне, бабы ихние выносят всего, — молока, яиц, масла. Хорошо живут. А выходишь из деревни, — в спину тебе ни откуда, ни отсюда, — бац, бац! Стрельба, не угодно ли... И черт их знает, где они там прячутся, ихние мужчины! Это уж, как уходишь, гляди в оба, а то подстрелят... Иной раз и сердце возьмет: хоть вы, мол, и хлебосолы, а так делать не годится. <...>

«Страшный лик войны вырос, безмолвно придвинулся за этими простыми словами, сказанными мягким голосом, рассудительным, немножко грустным тоном», — завершил свой очерк Ф. Крюков [4].

Солдатские письма стали и частью художественного повествования о войне и средством самораскрытия солдата. О том, как тяжело было вчерашнему лесорубу овладевать карандашом, не без юмора говорит один из безымянных солдат в книге С. Федорченко «Народ на войне» (1917): «Взял я карандаш и стал писать, как следовало. И увидел я: топорщице куды к моей руке попрικладнее. Упарился в тот раз, будто целую делянку я снял, и выкорчевал. А уж кабы я столько раз топор из рук выронил, сколько карандаш-то этот, — быть бы мне безногим калеккой» [5, С.26-27].

В самом начале войны в газете «Биржевые Ведомости» был опубликован очерк, в котором есть эпизод, записанный со слов раненого офицера. Он рассказал, в частности, что после боя, где был взят вокзал, нашим достался склад игрушек, которые были розданы солдатам. «Обрадовались «цацкам», словно дети. Куклы, паяцы, заводные паровозы, прыгающие лягушки, плюшевое и войлочное зверье — все в миг расхватили. На вокзале соорудили хоровод: кто бил в игрушечный барабан, кто дудил в металлическую дудку, а заводные «ляльки», под общий хохот, «ходили» по полу... Было неудержимое веселье... и, подумать только, спустя всего какой-либо час после упорной схватки с немцами! Прошло два дня. Лежим в окопах. На огонь не отвечаем. Рядом со мной — молодой солдат, не терпится ему: высовывает на пике фуражку «подразнить немца», — немцы бьют по мишени, а он смеется... Слышу слова: «Да ты не бойсь! Ты — свой, наш...» Оборачиваюсь: солдат гладит громадного рыжего войлочного медведя... Неприятель усилил огонь. Посылаю солдата с поручением к командиру эскадрона. Только отполз сажени три, — смотрю — встал бежит обратно: «ведмедя» забыл. Едва успел пригнать солдата к земле, как пули завизжали над нами...» [6].

И вот солдаты, увиденные в конце войны: «Собираются люди. Все крестьяне, все хлеборобы — широкие плечи, загорелые лица, заскорузлые руки. Трудовой российский народ, переодетый в солдатскую форму. Они лепятся по стенкам окопов, жмутся друг к другу, лежат, сидят на корточках, и толпой теснятся кругом. Они слушают. Слушают, как умеет слушать крестьянин — жадно, истово, со вниманием, запечатлевая каждое слово и на каждый вопрос отыскивая ответ. Мы говорим о земле и воле. О том, что значит земля, и в чем смысл долгожданной воли. И при этих, новых, словах загораются потухшие в окопах глаза, и что-то шепчут усталые губы» [7, С.206]. Если в первом случае русские солдаты — большие дети, которые впервые, быть может, увидели настоящие игрушки, то во втором — измученные бессмысленной войной мужики, которые стараются понять, что же их ждет после многомесячного пребывания под пулями. И все это — российская армия, которая «всегда была отражением, точным слепком своего народа, часть которого она составляла» [8, С.83].

Следует отметить, что молодыми и опытными писателями довольно четко представлялись современный характер войны, масштабы событий и сложность самой темы *человек на войне*. «Теперь я понимаю все, — сказал автор одной из первых книг очерков о Первой мировой войне Я. Окунев, — это так сложно, так огромно, что нет человеческих сил, чтобы изобразить чувства, переживаемые во время боя, особенно во время атаки» [9, С.49]. Скорее всего, во избежание неправды, фальши в передаче восприятия войны солдатами отсутствует эффектность. Напротив, неброскость, неяркость, отсутствие пафоса — свойство рассказов ее участников. В рассказе И. Шмелева «Мирон и Даша» (1915) звучит как будто нарочитая будничность: «К покосу воротился плотник Мирон: отпустили его на поправку, на год. Побывал в боях, два раза ходил на штыки,

заколол одного германца, — даже в лицо упомянул, — а было ли от него что еще — не знает: стрелял, как и все». И вот как просто, видимо, со слов самого Мирона говорится о том последнем бое, в котором контузило солдата: «Ничем не попортило, только «толкнуло» его снарядом: совсем рядом ударило. А что было дальше — не помнил. Рассказали потом товарищи, что взмыло его и шмякнуло оземь. С час лежал без понятия, все лицо и руки посекло песком до крови, насилу отмыли; с неделю не говорил от страха, и все тошнило; два месяца в госпитале лежал, а там — отпустили на поправку» [10, С. 8].

Перед литературой военных лет стояла нелегкая задача — увидеть в солдатской массе, выступающей как единое целое, подчиняющейся долгу и приказу, какие-то главные черты «народного характера», какую-то основу. С другой стороны, литература, в силу своей природы, протестующая против «одинаковости» и «обезлички», должна была разглядеть в боевых единицах отдельные судьбы, характеры. Такой двуединный подход особенно характерен для очерковой литературы начала войны. Уже в самых первых военных корреспонденциях и рассказах бросается в глаза довольно широкий диапазон образов русского солдата. Это внушительный строй, еще не четко очерченный, где на одном фланге лубочно-картинные молодцы, а на другом — «серый ползучий поток сотен упорно и сосредоточенно идущих по снегу людей, увешанных ранцами, котелками, ружьями, лопатами» [11, С.25]. Однако вскоре в огромной перемещающейся массе людей в солдатских шинелях начинают появляться отдельные лица, из общего гула голосов стали раздаваться отдельные слова, суждения. Так, в очерке Я. Окунева «Вооруженный народ» явлена серая солдатская масса, начинающая осознавать себя, начинает преодолевать грань «я — мы», «личное — общее»: «Среди нескольких «привилегированных» в полку есть студенты, есть даже один горный инженер, который оставил службу с тысячным окладом и отправился добровольцем на войну. Но все мы, пройдя десятки верст, ничем по внешности не отличаемся от туляка Лбова или хохла Петриченки. Фуражки блином, шинели смяты и покрыты глиной и грязью, лица небриты, огрубели, заскорузлы руки, и несет от нас запахом овчины и пота» [9, С.33].

Примечательно, что рядовой воин — русский мужик, мастеровой, одевший солдатскую шинель, — не стал в отечественной литературе *боевой единицей*. Постепенно, исподволь начали выкристаллизовываться его человеческие качества. Так, например, в рассказе А. Толстого «Под водой» (1915) отчаянный и находчивый матрос Курицын (имя его не названо) очень любит прихвастнуть. И конце повествования о спасении субмарины читатель видит, что этот храбрый подводник, «держа осторожно стаканчик, рассказывал разинувшим рот матросам про битвы и подвиги; старался не хвастать, но это ему не удавалось, — слишком крепок был в стаканчике ром...» [12, С. 563].

В рассказах и очерках А. Ксюнина, составивших книгу «Народ на войне» (1916), ощутимы уроки дегероизации войны Л. Толстого в «Севастопольских рассказах» — показ войны и ее участников с будничной стороны.

Анализируя военную прозу, ловишь себя на мысли, что рядовых тружеников войны весьма трудно назвать *солдатами*, т.е. рядовыми военнослужащими армии, или *воинами*, т.е. сражающимися с врагом. Познавая человека в экстремальной ситуации, литература сосредоточила внимание именно на *человеческом* в своем герое, а не на том, как он владеет ружьем. Можно с уверенностью сказать, что в словосочетании *человек с ружьем* ударение поставлено на первом слове. И здесь обнаруживается принципиальное различие между литературой и науками, обращающимися к человеку воюющему. Поведение солдата в экстремальной обстановке — сфера интересов военной психологии, тогда как запас человечности интересен прежде всего военному художнику. Видимо, не случайно в военной прозе было уделено такое внимание душевным качествам:

детскость, простодушие, доброта и сочувствие по отношению к пленным, нерадивость и беззаботность. Приведенное выше словосочетание могло бы звучать как *человек, оказавшийся с ружьем*.

Весьма характерна, например, собственная оценка теперешнего состояния шмелевского героя. Мирон смотрит на себя контуженного прежде всего не *как на солдата*, скорее всего храброго, а как на *работника*: «Крылушки и подсекло. Топориком еще хорошо могу, ну только задыхаюсь скоро. И подымать чего, если... трудно. Еще вот в шее иной ломить начинает шибко, а то в ноги, в самые кончики сверлит-стреляет. А так поделать чего... могу» [10, С. 8]. Самое яркое воспоминание вчерашнего солдата о войне: «Так было мокро..., соломы наваливали, чтобы не подмокло. Ротный оберегал: главное дело — не подмокайся, а то все почки застудишь. Другие застужались, и сейчас ноги пухнут... и никуда. В землянке раз спал... соломы подо мной было густо. Утром гляжу — будто я на перине, везде мне мягко, а стены движут... А это натекло к нам с горы, дождь был — так с соломой и подняло! Смерили потом — аршин! Смеху бы-ло...»

А вот про немца, которого пришлось заколоть, Мирон говорит часто:

«Так заверещал нехорошо... чисто на кошку наступил. Сейчас его голос слышу. У него штычок-то саблей да и подлинней, а я с лёта, да в самое это место, в мягкое-то... Присягу принимал... а подумать теперь — до сердца достает. А то он бы меня, все равно.

Немца он видит, как живого. Некрасивый был немец, крупнозубый, глаза навывкат, губы растрепаны, вихрастый, без фуражки. Росту был необыкновенного, а может, так показалось: снизу его колол.

Только-был хрипнул — «рус-рус!» — готов.

Рассказывает Мирон без хвастовства и злобы, и как-то не вяжется, что этот мягкий, застенчивый, голубоглазый мужик кого-то мог заколоть» [10, С. 8-9]. Человечность в солдате военного времени, главное дело которого — убивать, содержится и в мучительной памяти об этом немце, и в оправдании (!) своего поступка: *присягу принимал, а то он бы меня...*

Нисколько не умаляя достоинств литературы военного периода, следует все же сказать, что за время войны на страницах отечественной поэзии и прозы не появился герой в шинели рядового, олицетворяющий русского солдата, его мир, заботы и радости. Только через семь лет после окончания Первой мировой войны ее непосредственный участник С. Клычков создаст свой роман «Сахарный немец» (1925), на страницах которого появится зауряд-прапорщик Миколай Митрич Зайцев, или попросту Зайчик. Но отдельные, наиболее характерные его черты — незлобивость, долготерпение, покорность и даже какая-то обреченность — проявились в литературе военных лет. И прежде всего в прозе, запечатлевшей первое известие о войне, отношение к германцу, проводы в армию, первое сражение, отношение к пленному, смерть на поле боя или в лазарете.

Отзывчивые, добрые, сметливые, отчаянные Шестаков, Бабушкин, Прощаев, о которых с такой любовью пишет Ф. Степун в книге «Из писем прапорщика-артиллериста» (1917), составляют собирательный образ русского солдата. И в своем противоречивом отношении к службе они так же порой непонятны автору, как когда-то Пьеру Безухову был непонятен Платон Каратаев. Поневоле любясь умением австрийцев в три дня превращать любую местность в полевую крепость, автор сравнивает их со своими солдатами: «А наши, о Господи, ничего-то им не надо. Выроют себе, как куры в пыли, по ямке, бросят на дно охапку соломы, и ладно. Спрашивал я их сколько раз: «Отчего, ребята, не окапываетесь как следует?» — отвечают: «Нам, ваше благородие, не к чему. Ён оттого и бежит, что хороший окоп любит. Из хороших-то окопов больно неохота в атаку подыматься, а из наших мы завсегда готовы». Вот и пойми, где тут смешок, где лень, где святость» [13, С. 52].

Литература 1914–1918 годов не только изображала рядового участника войны, давая возможность высказаться человеку с ружьем. Одно из главных ее достоинств состоит в том, что на страницах военного времени наметилось *осознание солдатом себя в иной реальности*. Сначала самооценка была сделана не самим солдатом, она прозвучала от имени солдата в книге рассказов и очерков Я. Окунева «На передовых позициях. Боевые впечатления» (1915): «Нам, «боевым единицам», инстинкт (самосохранения. — *А.И.*) нужнее, чем индивидуальный ум, чем способность обобщать. И постепенно, разделяя трудности похода и опасности сражений с тульскими и рязанскими мужиками, мы бессознательно ассимилируемся с ними, и нет уже студентов или инженера, а есть рядовой такого-то полка, роты и взвода, ничем внешне и даже *внутренне* не отличающийся от Лбова или Петриченки. Собираясь вместе, мы никогда не ведем «идейных» разговоров, не спорим, не пытаемся применить свое мирозерцание к тому, что происходит вокруг нас, как это было в первые дни. Нас интересует вопрос, придут ли ротные кухни, будет ли разведка, пойдем ли мы в атаку» [9, С. 34].

Это стремление выразить то новое, что ощущает человек, ставший не только солдатом, но и сразу же оказавшийся в боевой обстановке, не было понято современниками молодого писателя. В отзыве на книгу один из рецензентов писал: «Я. Окунев ставит себе задачу дать наиболее конкретное, непосредственное изображение тех ощущений, которые овладевают рядовым лицом к лицу с опасностью, во время атаки или же в траншеях и в окопах. <...> Но именно эта сосредоточенность на одних только *военных* мыслях, тревожный и взволнованный тон рассказов — не являются характерными для *рядового солдата*, а передают лишь душевное состояние *случайного* участника похода. Военные относятся к своему делу несравненно хладнокровнее, и автор сам не раз указывает, что солдаты идут в бой, *как на работу*, но передать таковое отношение ему совершенно не удалось, и конкретность боевых впечатлений вполне условна» [14, С. 89].

Повествователь из цикла очерков Я. Окунева, становясь солдатом, постоянно сравнивает себя с другими: «Мы знаем тысячи примет, тысячи важных и нужных нам мелочей. Полет вороны, крик совы, положение осыпавшейся в лесу хвои — все это важно для того, чтобы определить, где неприятель. Наш ум работает споро и экономно, как ум Лбова, в душе удивительно просторно, спокойно, и нет мучительных сомнений, вопросов, исканий» [9, С.29]. Стремление интеллигента-добровольца к опрощению, скорейшему растворению в солдатской массе и осознанию себя ее частицей напоминает нравственные проблемы гаршинского героя в его военных рассказах. Но в литературе 1914–1918 годов такое *глубинное* восприятие войны, как экстремальной ситуации, ощущение солдатской среды *изнутри* явилось шагом в художественном освоении войны.

В словах героя Я. Окунева ощутим разрыв со своей прежней средой, осознаются изменения: стал ли он похож на «этих черноземных мужиков в солдатских мундирах»?

Герою Ф.Окунева интереснее и пока важнее то, что сделала война с ним, конкретным человеком, пусть и одним из многих в такой же ситуации. Пока его занимает то, как в привыкании к военному быстро преодолевается мирное: «Почти три месяца я на войне вместе с Лбовым, Петриченкой, со всеми этими туляками, рязанцами и полтавцами. Если я уцелею, и жизнь снова забросит меня в прежнюю, привычную обстановку, я не знаю, что я там стану делать. Дико как-то думать, что есть на свете места, где люди не лежат в окопах, где нет этой постоянной напряженности слуха, осязания, зрения, — примитивных чувств; где люди думают о чем-то другом, а не о шрапнели, о гаубицах, о маршах и переходах» [9, С.37].

Солдатский взгляд из окопов позволял сравнить, сопоставить реальное и воображаемое о войне, почувствовать фальшь и неискренность в современных ему публикациях

о происходящем: «Когда недели две тому назад к нам попали вместе с посылками несколько старых газет, и мы набросились на них, то все, о чем там писали, казалось нам далеким-далеким, давно изжитым. Там описывались сражения, но это было не то, не так, — это была выдумка. И о солдате выдумали, будто он герой, а не простой и серый рядовой Лбов, который так же споро и ловко исполняет свое дело здесь, как дома пахал землю, и так же просто и обыденно умирает с мыслью о сапогах, о семи с полтиной» [9, С.37].

Рассказы и очерки Я. Окунева с их стремлением говорить от имени рядового, на наш взгляд, запечатлели переход литературы от романтического, газетно-парадного восприятия к реалистическому изображению войны, постижению ее сути. Словно от имени всех русских солдат, забытых впоследствии, прозвучало обобщающее суждение о войне рядовых ее участников: «Мы только солдаты, нам недоступны обобщения и схемы, а видим и понимаем только то, что близко и непосредственно касается нас.

И если бы кто-нибудь сказал, что то, что мы делаем, эпopeя, великая, глубокая и трагическая, и что пишет ее не кто иной, как пензенский мужик Пахомов в серой шинели, в фуражке блином, со сваявшейся в войлок бородой, — разве здесь, у нас, кто-нибудь поверил бы этому?» [9, С. 49].

Следующий шаг в *самовыражении* солдата был осуществлен в произведении Софьи Федорченко «Народ на войне» (1917). Фрагменты будущей книги были опубликованы в журнале «Северные записки» (1917) под названием «Что я слышала». Ее автор в годы войны долгое время была сестрой милосердия, впоследствии стала профессиональным писателем. «Книга воспроизводила в форме коротких, лаконичных записей, занимающих обычно всего несколько строк, разговоры и рассказы солдат, их размышления и думы о жизни, о войне и мире, о себе и других, о своих и врагах. Некоторые из записей представляли собой в предельно сжатом виде целые новеллы» [15, С.5]. Высказывания непосредственных участников войны стали своеобразным синтезом, *обобщенно-личным восприятием войны*.

В книге «Народ на войне» выражено понимание солдатом

- *обесчеловечивания* на войне: «На его глазах братишку австрийцы убили. Сердце в нем кровью засохло... Как зверь стал... Целый день сидит выжидает. Чтоб австриец нос показал, — сейчас стрелять. И без промаху. Обед ему принесут, так денщика с ружьем ставит. Чтобы и минутки врагу милости не было... И до солдат облютел...»;

- *пагубного воздействия* войны на человека, *на его здоровье*: «Что здесь плохо — многие из нашего брата, нижнего чина, сон теряют. Только глаза заведешь. Ровно лавку из-под тебя выдернут, летишь куда-то. Так в ночь-то раз десять кричишь да прокидываешься. Разве ж такой сон в отдых? — мука одна. Это от войны поделалось. С испугов разных...»;

- *значения* именно этой *мировой войны для русского мужика-солдата*: «Война, война! Пришла ты для кого и по чаянью, а для кого и нечаянно. Неготовыми застала. Ни души, ни тела не пристроили, а просто, на посмех всем странам, погнали силу сермяжью, а разъяснить — не разъяснили. Жили, мол, плохо, не баловались, так и помереть могут не за-для ча. На немца-то — да с соломинкой!» [5, С. 31, 29, 72].

Можно предположить, что масштабность событий повлияла на то, что при обращении к солдату в центре внимания русских литераторов оказалось не единичное, индивидуальное «я», а общее, коллективное «мы». Появление в конце войны «Солдатских сказок» у таких писателей как А. Толстой, И. Шмелев, С. Черный, на наш взгляд, выразили стремление «дать слово» русскому солдату. Но уже в годы мировой войны от имени шестнадцати миллионов русских солдат в книге С. Федорченко «Народ на войне» было сказано немало по-народному мудрых и горьковато-соленых истин и о войне, и о себе, и о немце.

Было сказано о том, что в этой войне столкнулись наша безалаберность и немецкая подготовленность, что дух, отвага — это хорошо, но расчет, техника в нынешней войне все-таки лучше. Солдат успел сказать, как это *страшно — война*: «Загудело громом страшнее, обвалилась на нас земля... Сразу-то ничего не понять, дух пропал..., а как пришел в разум, смерти тяжче — живой в могиле... Песок во рту, в носу, дышать нечем... опять обеспамятел... откопали вот, весь поломан, и чуб сизый...». Думал солдат и о том, как жить будет после войны: «Я уж домой не хочу вернуться, чего я там не видал. Здесь землю куплю и с жителями буду хорошо обращаться, чтобы кровь забыли. Нашей-то крови тоже немало пролито... Земля от крови парная, хорошо родить будет... Войну люди скоро забудут»[5, С. 57, 78].

Солдатские размышления такого рода и есть, на наш взгляд, суть начавшегося самоопределения нации во время войны.

Художественно достоверные рассказы и очерки военного времени передали психологические особенности перехода мирного человека в другое состояние, например, человека уходящего на войну. Если в мирное время уход в армию для крестьянина означал, что он становился человеком, несущим «государеву службу». Это был целый ритуал, — пишет современный исследователь. Воинский долг психологически приближал его к власти; следовало уважать самый процесс перехода его в это возвышающее качество. Призывник долго и демонстративно «гулял» на глазах у «понимающей» общины [16, С. 27]. Иначе выглядело дело при проводах на войну: «Русский солдат, уходя на войну, прощается, — говорится в книге очерков В. Муйжеля «С железом в руках, с крестом в сердце» (1915). — И он, и все окружающие определенно уверены в том, что раз война — значит, смерть. Для того и война, чтобы людей убивали. Я был свидетелем проводов запасного. Когда все уже было кончено, когда осталось только занести ногу на колесо и прыгнуть в телегу, крестьянин обошел сзади ее, стал среди улицы и истоиво, обдуманно отвесил четыре поясных поклона на четыре стороны. Потом встряхнул волосами, оглядел светлое, яркое, летнее небо и сказал:

- Прощай, белый свет!

И, махнув рукой, полез в телегу.

Такой солдат идет на войну с тем, чтобы умереть...»[17, С.149].

Совершенно очевидно, что это не рядовое явление, очередной набор рекрутов, связанный с временной потерей кормильца, работника. Тут идет речь о проводах на войну, на возможную гибель. Здесь истоки драматизма в отечественной поэзии, первой откликнувшейся на войну: «Петроградское небо мутилось дождем» А. Блока, «По селу тропинкой кривенькой» С. Есенина, «Прощай, родимая сторонка» С. Клычкова, «Луговые потемки, омежки, снега...» Н. Клюева, «Белое солнце и низкие, низкие тучи...» М. Цветаевой и др.). Проза и поэзия военных лет запечатлела взвинченную веселость и залихватское: «К Рождеству управимся!»; разухабистые песни под тальянку, скрывающие страх и растерянность; образок, поправляемый рукой рекрута.

Русская литература военных лет передала состояние не только человека, которого могли убить, но человека, который *мог убить*. Каким бы неизбежным на войне это ни было, убийство себе подобного не проходило бесследно. Не зарастающий душевный шрам в человеке, убившего себе подобного, характерен для героев Б. Тимофеева, А. Толстого, И. Шмелева и др. Поэтому литературу военных лет о русском солдате можно назвать повествованием об *общечеловеческом* в нем. Она создала впечатление, что в народном сознании хороший воин — хорошо убивающий других (?) — это все-таки не стоящее должного уважения понятие, что-то есть в этом не Божеское... Потому и говорится скороговоркой о воинском, о наградах за человекоубийства. В упоминавшемся

уже рассказе И. Шмелева «Мирон и Даша» о том, что герой очерка Мирон награжден, читатель узнает не сразу: «На успеньев день в Крестах было освящение земского лазарета. Приехали с округи и управы. Был на торжестве и Мирон с Дашей, надел боевую фуражку и повесил георгиевскую медальку. После молебна комиссия осмотрела койки и одобрила чистоту работы — делал Мирон на совесть». А перед этим с нескрываемым любованием И. Шмелев говорит об избе Мирона: «У него изба, как игрушка, новенькая, в чудесной, затейливой резьбе <...> По бокам скворечники, тоже точеные, а на широкой резьбе ворот, на тычке, жестяной петушок-вертушка. Самая нарядная стройка в селе, с занавесочками из тюля, с фуксиями и геранями, с резными коньками на облицовке. Обделывал он ее любовно» [10, С.8].

В романе Б. Тимофеева «Чаша скорбная» (1918) показано мужество русских солдат. Весьма впечатляющим выглядит последний бой разведчиков во главе с младшим унтер-офицером Арефьевым, попавших в окружение.

Но не менее яркой и запоминающейся является сцена, когда вчерашние мужики, плотники, мастера с охотой, споро делают привычную мирную работу: «В ясные, солнечные дни рубили дрова в лесу. Звонко звучали топоры, серебряный сухой дождь падал с деревьев. Вдали от начальства испытывали солдаты ребячьи радости: покрикивали громко и весело, находя отдых в работе. <...> Грело солнце. Виднелся главный хребет с острой вершиной, весь день причудливо менявшей окраску. Изредка бухал вдали орудийный выстрел, но был он похож на летний гром, мягкий и не сердитый» [17, С.59-60]. И все чаще ощущается никчемность, бесполезность военного дела — рытье окопов, строительства укреплений, маскировочных сооружений. И все чаще звучат вопросы: «За что?», «Кому она нужна эта война?» «Какой от нее прок?»

Место человека с ружьем в Первой мировой войне емко и выразительно представлено В. Ропшиным [Савинковым] в финале его книги «Из действующей армии. (Лето 1917)» (1918): «С холма простым глазом был ясно виден соседний, источенный окопами холм, были видны колючие заграждения, были видны те сорок шагов несокошенной, пестреющей полевыми цветами, травы, которую нужно, необходимо перебежать, чтобы под огнем пулеметов продвинуться на сорок шагов вперед. А внизу, под холмом, была не долина, а решето. Вся земля была истыкана воронками от снарядов — больших, малых и средних. Сверху было страшно смотреть. Кто надругался над кормилицей — над землей? Кто изранил, изрешетил ее сталью? Кто посмел, кто решился ее осквернить? И когда я смотрел, кто-то тронул меня за рукав:

- Хлебов-то сколько побили!...

Это сказал хлебороб-крестьянин, одетый в солдатскую форму. И сказав, он чуть не заплакал. Он жалеет хлеба. Пожалеет ли он человека?» [7, С.214].

На наш взгляд, этот эпизод мог бы стать одним из символов Первой мировой войны в русской литературе 1914-1918 годов: изуродованная человеком земля и воин-хлебороб, впереди у которого Гражданская война...

Библиографический список

1. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914 г. — М., 2002. С. 39.
2. Флоренский П. В санитарном поезде // Новый мир. 1997. № 5.
3. Крюков Ф. Письма // Русские ведомости. 1914. 2 ноября.
4. Крюков Ф. Раненый // Русские ведомости. 1914. 2 ноября.
5. Федорченко С. Народ на войне. — М., 1990.

6. Рассказ офицера (б.п.) // Биржевые Ведомости. 1914. 2 сентября.
7. Ропшин В. [Савинков Б.В.] Из действующей армии. (Лето 1917). — М., 1918.
8. Чемоданов Г.Н. Последние дни старой армии. — М.; Л., 1926.
9. Окунев Я. На передовых позициях. — Пг., 1915.
10. Шмелев И. Мирон и Даша // Северные записки. 1915. Ноябрь-декабрь.
11. Кондурушкин С. Вслед за войной. — Пг., 1915.
12. Толстой А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1950.
13. Степун Ф.А. (Н. Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. — Томск: Водолей, 2000.
14. Трифонов Н.А. Несправедливо забытая книга // Федорченко С. Народ на войне. — М., 1990.
15. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — М., 1997.
16. Муйжель В. С железом в руках, с крестом в сердце. — Пг., 1915.
17. Тимофеев Б. Чаша скорбная. — М., 1918.

A. Ivanov

A RUSSIAN SOLDIER'S IMAGE IN THE NATIVE LITERATURE OF THE FIRST WORLD WAR PERIOD (1914-1918)

The article analyses first publications devoted to an ordinary participant of the 1914-1918 War spread on the pages of periodicals and books of the war time. The author's attention is attracted by young writers F.Kriukov, Y.Okunev, B.Timofeev, A.Tolstoy, K.Trenev, M.Prishvin, S.Fedorchenko, I.Shmelev.